

КАТЯ ЛАНСКАЯ

ЧАСТОТА

роман



Катя Ланская

Частота

<https://litres.ru/74325029>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Чтобы исчезнуть, нужен поезд, который никто не помнит».

Зимней ночью Кира уезжает из Верхнекаменска — города, где окна гаснут в одиннадцать, говорят быстро, а спрашивают медленно. Ни записки, ни следов — только жестяная коробка с восемью катушками плёнки, о которых лучше не думать вслух.

Двенадцать лет спустя её сестра включает микрофон. Подкаст «Частота» — расследование дела 2014/187, которое город похоронил раньше, чем нашёл пропавшую. С каждым эпизодом эфир громче, а свидетели тише. Тот, кто устроил тишину, слушает. Теперь его очередь услышать всё.

Содержание

Пролог	4
1	8
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Катя Ланская

Частота

Пролог

Чтобы исчезнуть, нужно сорок минут и один человек, который промолчит.

Сорок минут — это от нашего двора до станции, если ехать через переезд и не гнать. Человек, который промолчит, сидит слева от меня и смотрит на дорогу. За двадцать минут он не сказал ни слова. Я знала, кого просить.

Город спит. Он всегда спит: в одиннадцать гаснут окна, в полночь — фонари через один, экономия. Мы едем мимо школы, мимо ДК с колоннами, мимо доски почёта, где под стеклом мокнут лучшие люди комбината. На этой сцене в ДК я пела со второго класса. Я знала на ней каждую щель в полу. Я думала, с этой сцены начнётся всё.

С неё и началось. Просто не то.

Снег пошёл ещё у гаражей — первый, мокрый, крупный. Зима в тот год запаздывала, как будто тоже чего-то ждала. Дворники возят его по стеклу туда-сюда, и мне это даже нравится: снег засыпает следы, глушит собак и шумит. За шумом легче исчезать.

Сумка стоит у меня в ногах. Я собирала её шесть дней,

по одной вещи, чтобы мама не заметила пустоты в шкафу. Джинсы. Свитер. Паспорт во внутреннем кармане, я проверяла его столько раз, что обложка стала тёплой. Расчёску, которую подарила Соняш, я взяла не потому, что она нужна. Просто не смогла оставить.

А зарядку от плеера забыла. Вспомнила про неё вот только что, на подъезде к переезду, и почему-то от этой зарядки страшнее всего. Не от него, не от ночи — от белого провода в ящике стола, который мама найдёт весной и не поймёт.

Деньги оказались легче, чем я думала, — столько денег, а весят как журнал. Тяжелее всего плёнки. Восемь катушек в жестяной коробке из-под леденцов, и на каждой яме они звякают. Тихо-тихо. Как зубы.

Про плёнки не думать. Пока не думаю — их как будто нет. Он найдёт меня, если я останусь. Это даже не страх, это расписание. Он никогда не торопится, вот что самое плохое. Торопятся те, кто боится не успеть. Он успевает всегда.

Вчера он встретил меня у хлебного. Случайно — так это выглядело для всех. Кивнул, улыбнулся, спросил, как мама. Улыбка у него хорошая, добрая, он ею со всеми здоровается. И приговоры выносит тоже ею. Разницу не видит никто. Я увидела. Поэтому я здесь.

Мама сказала: страх нужно отдать ей. Я отдала. Почти весь. Себе оставила ровно столько, чтобы не заснуть до поезда.

Переезд. Навстречу — фары. Я сползаю по сиденью вниз,

щекой к сумке, и считаю про себя: раз, два, три. Свет проходит по потолку салона слева направо, медленно, как луч по сцене. Четыре. Пять. Всё, ушла за спину.

Просто машина. Просто ночь. Мало ли кто ездит ночью через переезд.

Станция встречает нас одной лампой. Касса заколочена с лета, на фанере написано «ЖДИТЕ» — без подписи и без сроков. Вечерний поезд ушёл в девять, его у нас провожают всем перроном, с пакетами и слезами. Мой поезд другой. Проходящий, четыре ноль семь, стоянка две минуты. Его не встречают и не провожают, про него забывают через минуту.

Чтобы исчезнуть, нужен поезд, который никто не помнит.

— Всё? — спрашивает он. Первое слово за сорок минут.

— Всё, — говорю я. — Ты меня не видел.

— Я тебя не видел.

Он повторяет это ровно, без вопроса, глядя перед собой, и костяшки у него на руле белые. Деньги я кладу в бардачок. Он не смотрит и не пересчитывает, и от этого мне впервые за вечер хочется разреваться — прямо тут, в чужой машине, за сорок минут до новой жизни.

Я выхожу в снег и не оборачиваюсь. Слышу за спиной, как он разворачивается — медленно, не включая фар. Фары он включит за переездом. Я его об этом не просила. Сам сообразил.

Час одиннадцать минут на перроне. Лампа гудит. Снег идёт сквозь её свет снизу вверх — так кажется, если долго

смотреть, а смотреть мне больше не на что.

Я думаю про Соняш.

Она спит сейчас на правом боку, лицом к стене, поджав колени, — она с детства так спит, будто прячется. Утром встанет, поставит чайник, крикнет: «Кир, ты будешь?» И всё.

Если сказать ей — она поедет со мной. Не задумается ни на секунду: соберётся и поедет, я её знаю. А двоих ищут быстрее, чем одного. Тот, кто будет искать, умеет это делать. Пусть ищет одну.

Соняш. Когда-нибудь объясню. Два щелчка — я здесь. Два щелчка — я слышу. Ты всегда ловила с полущелчка.

Рельсы начинают петь раньше, чем появляется свет, — тонко, на одной ноте, как мокрый палец по стеклу. Потом из-за поворота бьёт прожектор, и снег в луче встаёт стеной.

Поезд длинный, тёмный, жёлтых окон два на весь состав. Проводница в накинутом бушлате зевает и машет: сюда. В паспорт она не смотрит — сую деньги, она кивает на верхнюю боковую у туалета. Для неё я никто и еду ниоткуда в никуда.

Никто — это сейчас лучшее, кем можно быть.

Ступенька высокая. Сумка тянет плечо, коробка внутри звякает в последний раз. Я поднимаюсь и не оглядываюсь — оглядываются те, кто собирается вернуться.

Если всё получится — меня больше нет.

На похороны моей матери приходит одиннадцать человек, считая меня и священника.

Я пересчитываю их дважды, машинально, как пересчитываю всё: гостей, минуты, прослушивания. Тётя Валя из соседнего подъезда — и дядя Боря, её муж, который привёз всех на своей «Гранте» и теперь стоит у ограды, не зная, куда деть руки без руля. Четыре женщины из маминой бухгалтерии, стоят одинаково, сумки перед собой. Две мамы одноклассницы, я их путаю всю жизнь. Батюшка читает быстро, глотая окончания: в час у него ещё одни похороны, я слышала, как он договаривался по телефону.

Одиннадцатый — мужчина в чёрном пуховике. Стоит поодаль, у берёз, руки в карманах. Не крестится, не переминается, не дышит в ладони. Люди на кладбище всегда что-то с собой делают — поправляют шарф, изучают носки ботинок. Этот просто стоит и смотрит. Так стоят не те, кто пришёл прощаться, а те, кто пришёл присутствовать.

Я его не знаю. Когда я смотрю на него, он глаз не отводит — отвожу я. А когда оглядываюсь снова, у берёз пусто, и от ворот отъезжает тёмный внедорожник с заляпанным номером.

Голос у меня в голове говорит: запомни его. Я отмахиваюсь: в маленьких городах чужие похороны — это досуг.

Снег тут лежит с конца октября и пролежит до апреля. Минус восемь, ветра нет, комья на крышке стучат громко, как будто кто-то стучится изнутри, — я знаю, что так думать нельзя, и думаю именно так.

Рядом с маминой могилой, за общей оградкой, — пустое место. Мама выкупила его двенадцать лет назад. Для Киры. Хоронить было нечего, место так и стоит, и мама приезжала сюда по воскресеньям — дядя Боря возил — и сажала цветы на могиле, которой нет. Бархатцы, ноготки, что приживётся. Город считал это горем. Наверное, это и было горе. Просто я сейчас смотрю на этот ровный снег и ловлю себя на мысли, которой у меня раньше не было: цветы на пустом месте — это ведь очень удобно. К ним никто не присматривается.

Мысль дурацкая. Я убираю её туда же, куда убрала мужчину в пуховике.

Теперь они лежат рядом: мама — под свежим холмом, Кира — под ровным снегом. Одна умерла. Вторая — «не установлено».

«Не установлено» — так написано в деле. Я прожила в этих двух словах всю взрослую жизнь, и, если честно, жить в них можно: там нет тела, нет даты, нет конца. Там сквозит, но жить можно.

— Сонечка. — Тётя Валя берёт меня под локоть. Пуховик у неё пахнет валидолом и морозом. — Ты теперь у нас одна осталась.

Она говорит это с жалостью, а слышится как приговор.

Одна. Из четверых. Отец — когда мне было шесть, сердце. Кира — когда мне было девятнадцать. Теперь мама. Семья Агеевых сокращалась, как штат комбината: планоно и до последней единицы.

— Поминки в «Уралочке», — говорит тётя Валя. — Я всё заказала, не думай. Курник и компот, как Людочка любила.

Мама ненавидела курник. Я киваю.

Телефон вибрирует, когда могильщики берутся за лопаты. Местный номер. Я отхожу к берёзам и отвечаю — старая привычка: незнакомый номер может оказаться источником.

— Софья Андреевна? Эдуард, агентство «Городок». По поводу квартиры вашей мамы. Соболезную, конечно. Когда вам удобно будет посмотреть... то есть показать...

Эдуард путается в глаголах. Мама ещё в земле не вся, а Эдуард уже показывает. Я говорю: «Перезвоните завтра» — и злости не чувствую. В городе, где квартира продаётся по восемь месяцев, риелтор с рефлексами заслуживает если не уважения, то хотя бы завтрашнего звонка.

Три дня. Столько я себе дала: документы, вещи, ключи Эдуарду — и назад в Москву, где у меня студия в кредит, подкаст на издыхании и жизнь, про которую лучше не подводу писать, а некролог.

Такси от кладбища ловится двадцать минут. В салоне пахнет ёлочкой-вонючкой, по радио — шансон про маму, и это почти смешно. Водитель смотрит на меня в зеркало дольше, чем на дорогу.

— Вы же Агеева? — говорит он наконец. — Сестра той самой.

Той самой. У Киры здесь давно нет имени — есть артикль. — Соболезную, — добавляет он, не уточняя, по кому. Правильно делает.

Мы едем через весь город, и город делает вид, что не изменился. Комбинат дымит тремя трубами из четырёх. На площади лежит разобранная ёлка-конструктор — поставят к декабрю, разберут в марте. ДК стоит с колоннами и с баннером «Сдаются площади» поперёк афиши. Между пятиэтажками те же верёвки, и на морозе доходят до кондиции те же простыни.

Я открываю телефон. В паблике «Подслушано Верхнекаменск» под постом из одной строчки — «Агеева-младшая вернулась, видели на кладбище» — девяносто комментариев за четыре часа.

«Это которая по телевизору?» — «В интернете. Передачи про маньяков». — «На похороны матери человек приехал, имейте совесть». — «а чего одна, где муж» — «Совесть у вас у всех была, когда на Разиных всё вешали?» — «Не начинай». — «скорей бы уехала. без неё тихо было».

Девяносто комментариев. Лучшие охваты в моей карьере. В «Уралочке» пахнет так же, как двадцать лет назад: подгоревшим маслом и хлоркой. Гардеробщица выдаёт номерки — латунные, стёртые до белизны, я такой в детстве проглотить боялась. За сдвинутыми столами нас девять. Дядя Бо-

ря разливают по рюмкам, женщины из бухгалтерии оживают в тепле и вспоминают маму — по-доброму, честно: как она в девяносто восьмом выбила премию на весь отдел, как пела на юбилеях, если долго просить, как приносила рассаду в баночках из-под сметаны.

Я слушаю и понимаю, что они знали её лучше, чем я. У нас с мамой было два звонка в год: её день рождения и мой. Кирин день рождения не выдерживали обе. Про то, что случилось, — ни слова, никогда. Договор молчания, честный, как всё в нашей семье.

— Людочка в последний месяц всё порядок наводила, — говорит тётя Валя, подкладывая мне курник, который я не ем. — Всю квартиру перебрала. Я ей: Люд, ты чего затеялась? А она: чтобы Соне потом разбирать поменьше. Как чувствовала, царствие ей небесное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.